В стороне (Нобелевская лекция)

Эльфрида Елинек

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Нобелевская лекция Эльфриды Елинек (2004 год) в переводе Галины Снежинской.

- В стороне (Нобелевская лекция)
- notes
  - 1

В стороне (Нобелевская лекция)

Не есть ли писательство — пластичность, свойство льнуть к реальности? Ведь хочется прильнуть, очень, но что при этом происходит со мной? Что происходит с теми, кто реальности реально не знает? Она ведь, так сказать, встрепанная, реальность. Никаким гребнем не причешешь. Писатель чешет голову, в отчаянии устраивает себе прическу, которая потом становится его ночным кошмаром. Потому что внешность испорчена. Прическу, этакое замечательное сооружение на обители наших сновидений можно, конечно, убрать, но невозможно укротить. Пожалуй, волосы перестанут стоять торчком и будут свисать со лба, застить глаза, но окончательно победить их не удастся. Или волосы будут вставать дыбом при виде ужаса, который происходит непрерывно. Привести их в порядок не удастся. Ни за что. Сколько ни вонзай гребешок с обломанными зубьями — ни за что. А внешность будет испорчена еще больше.

Тексты, в которых рассказывается о событиях, ускользают из пальцев, словно время; не только время, затраченное на их написание, вычеркнуто из жизни. Вычеркнув какое-то время из своей жизни, никто ничего не теряет. Никто — живой человек, убитое время, и тем более — мертвец. Пока писатель что-то писал, время ушло — вошло в произведения других писателей. Время — это время, поэтому ему все дано одновременно: входить в твою работу и в тот же миг — в работы других авторов, запутываться в растрепанных прическах других людей, точно свежий, хоть и резкий ветер, внезапно поднявшийся в реальности. А если уж что поднялось, уляжется не скоро. Яростный ветер времени все подхватывает, все сметает. Все уносит прочь, неважно куда, но только не обратно в реальность, ту самую реальность, которую нам надлежит отображать. Куда угодно, только не назад в действительность. Действительность как раз и заставляет шевелиться волосы на голове, она как раз и задирает юбки, срывает платье и уносит прочь, туда, где нас нет. Как же писателю разобраться в реальности, если реальность налетает на него, захватывает и срывает с места, увлекая прочь, в сторону? Со стороны виднее (это — с одной стороны), но писатель не может оставаться на путях реальности (с другой стороны). Ему на них нет места. Его место всегда в стороне. Только то, что он высказывает, глядя со стороны, кем-то может восприниматься, причем лишь потому, что высказанное двусмысленно. А значит, подходят двое, подходящие, правильные, они предостерегают от чего-то неподходящего, неправильного, эти двое исправляют, но

исправляют в двух разных направлениях, пытаются добраться до непрочной основы, которая давно уже выломана, как зубья твоего гребешка. Или — или. Истина — или ложь. Рано или поздно делаешь выбор, так как почва, основа, на которой возводится здание, прочностью не отличается. Как же строить на непрочной почве? На пустоте? Но все непрочное и недостаточное, что попадает в поле зрения писателя, все же является достаточным для чего-то, на что писатели могут и не реагировать. Могут не реагировать и не реагируют. Не уничтожают этого. Просто смотрят, не различая ясно. Но из-за неясности "что-то" не становится чем попало. Взгляд метко поражает цель. Пораженная, уже падая наземь, она нечто сообщает, хотя на нее уже не смотрят, хотя она даже не представлена внимательному взгляду общественности; пораженная, павшая цель никогда не сообщает, что могла быть какой-то иной, прежде чем пала жертвой данного писательского взгляда. Она говорит как раз о том, чему лучше было бы навсегда остаться невысказанным, (потому что можно было сказать лучше?), остаться неясным и необоснованным. В этой зыбкой почве уже многие увязли по пояс. Подвижные пески, которые никого ни к чему не подвигнут. Необоснованность, не лишенная оснований. Любое, что никому не любо.

Позиция в стороне служит жизни, которой нет там, где находишься ты; в противном случае все мы никогда не попадали бы в гущу, самую гущу человеческой жизни. Позиция в стороне служит наблюдению жизни, которая идет в другом месте. Там, где нет тебя. Зачем бранить кого-то за то, что он не возвращается на путь странствий, жизни, странствий по жизни, если жизнь его вынесла — не в том смысле, что он других людей способен "выносить", и не в смысле "вынесла куда-то дальше", а просто случайно вынесла откуда-то, словно пыль на башмаках, с которой домохозяйки ведут беспощадную борьбу, хотя и менее беспощадную, чем борьба уроженцев страны с пришлыми, инородцами. Что же это за пыль? Радиоактивная? Или просто активная, сама по себе? Я задаюсь этим вопросом лишь потому, что она оставляет такой странный светящийся след на дороге. Этот попутчик, который никогда не встречается с писателем, и есть путь? Или сам писатель — попутчик, постоянно уходящий в сторону? Он еще не разошелся с нами, но он уже там, где совершился уход. И находясь там, смотрит на тех, с кем разошелся, на тех, кто и друг с другом расходится, он наблюдает их разнообразие, для того чтобы воплотить как единый образ, чтобы придать им форму, ибо форма — самое главное; итак, со стороны виднее. Но и это ему запишут на счет, мелом; значит, путь писателя отмечен крошками мела, а не светящимися

частицами? Как бы то ни было, путь отмечен, эти пометы обозначают и в то же время маскируют, старательно стирают все следы. Как будто никто и не проходил. Но все равно знаешь, что там происходит. Об этом сообщают с экранов лица, искаженные болью, залитые кровью, смеющиеся, загримированные, с макияжем на предварительно вздутых искусственными средствами губах; или что-то сообщают губы, правильно угадавшие ответ на вопрос викторины, прирожденные говорящие головы, женщины, которые ни в чем не виноваты и не могут помочь, они встают и снимают жакет, чтобы выставить в телекамеру накачанные силиконом груди; раньше груди были стальными и принадлежали мужчинам. И неисчислимое множество глоток, из которых несет, как дурным запахом, только пуще, — песнями. Вот что можно увидеть, если встанешь на их путь. Поэтому тебе с ними не по пути. Можно смотреть на этот путь издали, из своего одиночества, а смотреть приятно, потому что путь приятно наблюдать, но идти по нему не хочется. Что, эта дорога издала звук? Так она еще и звуками пытается привлечь к себе внимание, а не только своими красками, людскими криками и кричащими красками? Неужели путь, по которому не идешь ты, боится, что по нему вообще никто не пойдет, хотя люди идут и идут на совершение многих и многих грехов, постоянно: пытки, преступления, воровство, трудные обязанности, обязательные трудности в процессе производства мировых судеб? Дороге безразлично. Она все несет на своей спине, прочная, хоть и не имеющая основы. Необоснованная. Без почвы под собой. Как я сказала, волосы поднимаются дыбом, и никакой гель тут не поможет, не улягутся. И во мне самой ничто не уляжется. Итак, ни внешне, ни внутренне стойкости нет. Если ты в стороне, в любую минуту надо быть готовым все дальше и дальше отходить в сторону, в пустоту, ибо пустота совсем близко, она рядом с твоей позицией в стороне. А еще там, в стороне, есть ловушки, западни, им надо поймать тебя, чтобы заманить как можно дальше в сторону. Заманивание прочь есть заманивание внутрь. Но я не хочу терять из виду дорогу, по которой не иду! Я хочу честно и, главное, верно и точно описать ее. Если уж я смотрю на дорогу, то это что-нибудь даст. Но дорога меня не щадит. И ничего мне не спускает. Так что же остается? Идти нельзя — не могу сдвинуться с места. Я в стороне, хотя и не ухожу. И даже в стороне я хочу, для уверенности, иметь надежную защиту от моей собственной неуверенности, а также от ненадежности почвы, на которой стою. Со мной — для надежности, а не только для защиты — моя речь, она проверяет, все ли я делаю правильно, все ли делаю по-настоящему неправильно, когда описываю

реальность, ибо реальность необходимо описывать неправильно, это требование самой реальности, однако неправильность должна быть такой, чтобы всякий, кто прочтет или услышит, сразу ее заметил бы. Реальность лжива! А эта собака, речь, которая должна меня защищать, для чего я ее и держу, пытается укусить меня. Моя защитница хочет меня укусить. Моя единственная защитница от других писателей, которые пишут обо мне, речь, существующая для описания чего-то другого и кого-то другого, но не меня, — как раз ради этого я исписываю горы бумаги, — моя единственная защитница обратилась против меня. Может быть, она существует лишь для того, чтобы, притворяясь защитницей, нападать на меня. Я искала защиты в писательстве, а речь, это состояние странствия, речь, которая, как мне казалось, дает такое надежное прибежище в движении, в говорении, речь обратилась против меня. Ничего удивительного. Я с самого начала ей не доверяла. Разве это камуфляж, если он ничего не скрывает, а наоборот все больше и больше выявляет?

Моя речь иногда пускается в путь по ошибке или случайно, но никогда не покидает своего пути. А сам процесс речевого выражения не является произвольным, он непроизволен произвольно, нравится нам мы это или нет. Речи известно, чего она хочет. Хорошо ей, — я вот не знаю, чего хочу, и не знаю имен и названий. Болтовня теперь продолжается там, вдалеке, потому что болтовня — это всегда продолжение начатого, не имеющее ни начала, ни конца; но это не речь. Итак, болтовня продолжается там, где другие непременно задерживаются, те, кому якобы некогда, кто не может задержаться, так как очень занят. Там болтовня. Но не я. Только язык, речь, которая иногда отдаляется от меня, приближаясь к людям, не к "другим", а к настоящим, подлинным, выходит на снабженную четкими указателями дорогу (кто же здесь заблудится?!) и следит за ними точно камера, за каждым их движением. Надо, чтобы хотя бы она, речь, узнала, какова жизнь, что есть жизнь, узнала там, где как раз нет жизни; и все это затем нужно еще и описать, отобразив как раз то, чего не существует. Вот, мы заговорили, например, о том, что надо бы сходить к врачу, провериться, на всякий случай. И вдруг речь пошла сурово, мы заговорили так, словно у нас есть выбор — говорить или молчать. Что бы ни происходило, речь идет, а я сама стою в стороне. Речь идет. Я же стою на месте, но — в стороне. Ни на чьей стороне. И теряю дар речи.

Нет, речь пока осталась. Может быть, она все время была со мной, но предавалась размышлениям о своем превосходстве? Над кем? А теперь вот заметила меня и властно призвала к порядку, властительница речь. Она властно возвышает голос, она

поднимает на меня руку — она не любит меня. Должно быть, любит приятных людей там, на дороге, рядом с ними она бежит, как собака, да она и есть собака, притворившаяся послушной. Но в действительности она не слушается ни меня, ни других людей. Она сама себе хозяйка. Ночью воет, потому что вдоль дороги забыли зажечь фонари, получающие энергию от солнца, а не по проводам или из розетки, фонари, в честь которых названа дорога. У нее, впрочем, столько имен, что, если и захочешь, не поспеешь все их вовремя произнести. Я тоже вою, в своем покойном одиночестве, ковыляя прямо по могилам упокоившихся, потому что, находясь в стороне, я не могу уследить, на что наступаю, кого попираю, мне просто нужно попасть туда, куда моя речь уже дошла и откуда теперь злорадно ухмыляется, глядя на меня. Ведь если бы я попыталась действительно начать жить, она мигом отшибла бы у меня такую охоту. Сперва отшибла бы охоту, потом еще и солью раны посыпала. Ладно. Сама посыплю солью дорогу для идущих, пусть растает их лед, посыплю солью, той самой, которая так необходима речи, я лишу речь соли, значит, лишу ее надежной основы. Но она же давно стала безосновательной. Какая наглость, хотя никаких оснований наглеть у речи нет. Если уж я не имею твердой почвы под ногами, как смеет притязать на это моя речь? Она беспочвенна, и поделом ей! Почему не осталась со мной, в стороне, зачем покинула меня? Пожелала видеть больше, чем вижу я? На широкой дороге, где много людей, кстати, более приятных, чем я, беспечно о чем-то болтающих? Она пожелала знать больше, чем я? Конечно, о многом она изначально знала больше, но нужно знать еще больше. Она, моя речь, въедаясь в самое себя, однажды окончательно себя поглотит. Пресытится реальностью. Так ей и надо! Я-то ее выплюнула, но она сама ничего не выплевывает, что ни дай, все переварит. Моя речь зовет меня, и при этом "говорит в сторону", она вообще любит "говорить в сторону", ведь при этом не нужно стараться достичь чьих-то ушей, а ей и не надо стараться, она всегда достигает цели, поскольку изрекает что-нибудь не просто так, а "со строгостью дозволяющего", как пишет Хайдеггер о Георге Тракле. Речь вступает со мной в коммуникацию, сегодня всем это доступно, ведь средство коммуникации у каждого в кармане — маленький приборчик, с его помощью можно разговаривать, иначе для чего мы вообще научились говорить?! Итак, речь находит меня там, где я вою и дергаюсь — в ловушке-западне, нет, это неверно, речь меня не находит, она пропала, я лишилась речи; поэтому она вынуждена вступать со мной в коммуникацию с помощью каких-то, неважно каких, приборчиков, мобильных телефонов,

компьютеров, она вопит мне в ухо, надрываясь от крика, и в свою очередь пытаться что-то сказать бессмысленно, потому что речь уже все высказала, а мне остается лишь повторять ее подсказки. Еще меньше смысла в попытках объясниться с каким-нибудь приятным человеком, подпавшим под твое обаяние, такому можно доверять: уж кто подпал, тот подпал и не скоро поднимется, не скоро сможет тебя преследовать, чтобы… ну да, просто поболтать. Бессмысленно. Слова моей речи там, на приятной дороге (я знаю, она приятнее, чем моя, которая на самом деле вовсе не дорога, впрочем, это не ясно, но я знаю, что там мне было бы приятно идти), слова моей речи, как только она со мной рассталась, превратились в объяснение. Нет, не объяснение с кем-то. Скорей, изъяснение. И моя речь при этом вслушивается в свое звучание, исправляет его, поскольку над произношением можно работать постоянно, совершенствуя его бесконечно, о, да, произношение всегда можно улучшить, а потом еще и принять новые правила орфографии, которые нужны лишь затем, чтобы впредь было что переделывать и изменять. И произойдет наведение мостов, все разрешится, я, разумеется, хочу сказать: решится. Pons asinorum, "ослиный мостик", черновой подстрочник. Речь, голубушка, прошу тебя, ну послушай ты меня! Тебя это кое-чему научит, например, правилам хорошего произношения… Ну что ты вопишь и учительствуешь, там, в отдалении? Надеешься, что я милостиво позволю тебе вернуться? А я думала, ты не хочешь возвращаться. Ты же ни единым словом не намекнула, что хочешь вернуться, да это и не имело бы смысла, — я твоих знаков не поняла бы… Что-что? Ты, речь, стала речью лишь для того, чтобы уйти от меня и, соответственно, гарантировать возможность ухода мне? Хороша гарантия! Да еще данная тобой. Твоим обещаниям я знаю цену. А тебя уже и не узнаю. Значит, ты по своей воле решила вернуться. А я тебя не приму. Ну что теперь скажешь? Иди своей дорогой. Своим бездорожьем. Если бы мое покойное одиночество, мое постоянное отсутствие, мое непрерывное пребывание в стороне явились самолично, чтобы привести назад речь, чтобы она, обретя во мне добрую хозяйку, вернувшись наконец в родной дом, зазвучала прекрасно, издавая свои самые чудные звуки… Но все это случилось бы только для того, чтобы своими звуками, своим пронзительным, душераздирающим воем она, точно сирена, отогнала меня еще дальше, еще дальше в сторону. Эхо моей речи, которую я сама породила и которая от меня сбежала (может, ради этого я и породила ее? Ради того, чтобы она убегала? Ведь сама я не смогла бы убежать от самой себя?), так сильно, что отбрасывает меня все дальше в сторону. А моя речь уже валяется

в своей собственной грязи, в придорожной яме, и смотрит вверх, в воздушную яму, катается на спине, доверчивое животное, она, как всякий порядочный язык, хочет нравиться людям, и она ерзает, раскидывает ноги, наверное, хочет чтобы погладили, зачем же еще? Она безумно жаждет ласк. Ласки отвлекают ее внимание от мертвецов, приходится мне за ними приглядывать, и это становится моей обязанностью. Вот и нет времени приглядеть за речью, вот она и ластится без зазрения совести к тем, кто ласкает. Слишком много их, мертвецов, за которыми нужен "пригляд" — так говорят в Австрии, когда хотят сказать: заботиться о ком-то, хорошо обращаться с кем-то; мы, австрийцы, как раз славимся тем, что всегда и со всеми обращались хорошо. А мир "приглядывает" за нами, так что нет причин для беспокойства. Нас самих это не беспокоит. Но чем явственней звучит во мне это требование — приглядывать за мертвецами, тем труднее мне следить за моими собственными высказываниями. Я приглядываю за мертвецами, а тем временем люди, вышедшие погулять, щекочут и гладят милую, добрую речь, но мертвецов это не пробуждает к жизни. Никто не виноват. Я тоже, с моими растрепанными волосами и непричесанными мыслями, не виновата, что мертвецы остаются мертвецами. Я хочу, чтобы речь перестала наконец быть рабой чужих рук, пусть даже доставляющих ей удовольствие, я хочу, чтобы она перестала выдвигать требования и сама стала бы требованием и подчинилась требованию, а именно: вернуться ко мне, потому что язык в конце концов должен слушаться, но он часто не понимает этого, вот и не слушается. Он должен покориться, потому что люди, которые соизволили взять его в свою семью, как сироту — он же такой хорошенький! — хотя это мы с ним обращаемся хорошо, так вот, люди никогда не покоряются, они принимают решения и никогда не покоряются, а многие люди даже уничтожили наказ, повелевающий им быть общительными, они его уничтожили, порвали, сожгли, и знамя свое тоже, вот как! Чем больше людей соглашаются на требование моей речи почесать ей брюхо, пощекотать где-нибудь, добродушно принять ее доверчивость, тем дальше я ковыляю прочь от них; я окончательно отдала свой язык тем, кто лучше с ним обращается; и я почти лечу, но где же, где путь, нужный мне, чтобы догнать?.. Как мне прийти?.. Куда?.. Для чего? Как мне попасть в то место, где я смогу вытащить из сумки свой инструмент, — и сразу же снова спрятать. Там, в отдалении, за ветвями, что-то светлеет, может быть, там мой язык будет льстить людям, будет убаюкивать их речами о безопасности, лишь для того, чтобы кто-нибудь и его добродушно убаюкал? Или речь моя снова

собирается кого-нибудь покусать? Ей бы только кусаться, но люди об этом пока не подозревают, а я-то хорошо ее знаю, она же долго была со мной. Поначалу ласкается и воркует, домашняя, с виду ручная птичка, таких все держат у себя, на что им еще одна, чужая? И почему эта птичка-речь должна быть какой-то иной, непохожей на знакомых и хорошо известных? Она непохожа на других? Пожалуй, небезопасно брать такое существо в дом. Пожалуй, она не поладит с той птичкой, которая уже есть в доме. И чем настойчивее эти приветливые чужие люди, понимающие, как надо жить, но совершенно не понимающие, что такое их жизнь, преследуют свою цель — пригреть мою птичку (им всегда надо что-нибудь преследовать), тем хуже моя зоркость различает путь, который мог бы привести меня назад, к моей речи. Miles and more. Кому же различать, если не зоркости? Речь собирается еще и зоркость себе присвоить? Намерена говорить о чем-то, прежде не разглядев? Она валяется в грязи, ее хватают чужие руки, на нее налетает ветер, ее треплют бури, ее оскорбляет то, что она слышит, и в конце концов она перестает слушать. И потом, знаете ли, слушать все сразу… Не желающий слушать вынужден говорить, не будучи услышанным. Почти никто из говорящих не бывает услышан. Меня слышат, хотя моя речь не послушна, хотя мои глаза ее едва различают. О ней много говорят за глаза. Поэтому моей речи не надо самой много говорить, вот и хорошо. К ней прислушиваются, когда она медленно что-то произносит, а в это самое время в другом месте кто-то нажимает красную кнопку, и происходит страшный взрыв. И ей остается одно: Отче наш, иже еси… Ко мне это не может относиться, несмотря на то, что я для моей речи — отец, родитель, собственно — мать. Итак, я родительница моего родного языка. Родной язык существовал изначально, был во мне, но не было родителя — была родительница-одиночка. Мой язык часто становился неслыханным, и мне недвусмысленно давали это понять, но я понимать не хотела. Виновата. Родитель вместе с родным языком бросил свою маленькую семью. И был прав. На его месте я тоже не осталась бы. Теперь мой родной язык отправился за отцом, его нет. Как уже говорилось, он там, вдалеке. Он принадлежит людям, идущим по дороге. По дороге Отца, ушедшего слишком рано. И моя речь теперь знает то, чего не знаешь ты и чего не знал он. Но чем больше она знает, тем меньше сама кому-то говорит о чем-то, моя речь становится ничего никому не говорящей. И покойное одиночество теперь распрощалось и упокоилось. Оно больше не требуется. Никто не видит, что в одиночестве и упокоении пребываю я. Мне не внимают. Может быть, обращают внимание, но не внимают. Как добиться, чтобы

все мои слова, вот эти слова, о чем-то говорили, чтобы нам вообще хоть что-то о чем-нибудь говорило? Но не когда я говорю. Я же вовсе не умею говорить… Не взыщите, моей речи нет дома. А там, вдалеке, она высказывает некие мнения, хотя я не давала ей такого приказания, — да она все мои приказания сразу позабыла. А мне ничего не говорит, хотя как-никак она — моя речь. Она ничего не говорит мне, так где уж — другим людям? Но, согласитесь, нельзя считать, что она бессодержательна! Она сообщает тем больше, чем дальше уходит от меня; собственно, лишь вдали от меня она отваживается сообщить, высказать то, что ей самой хочется, отваживается на непослушание, протест. Когда смотришь на предмет, отходишь от него подальше. Когда говоришь о предмете, охватываешь его, но не можешь удержать. Он вырывается и пускается вдогонку за своим описанием, за множеством слов, которые я создала и, обронив, потеряла. Довольно уж мы обменивались словами, обменный курс жутко низкий, или просто — жуткий. Я что-то говорю, а сказанное тут же забывается. Слова только и хотели вырваться, уйти от меня. О несказанном, о том, чего не выразить словами, люди говорят каждый день, но о том, о чем говорю я, вообще не разрешается говорить. Такова подлость сказанного. Невыразимая подлость. Сказанное слово не желает принадлежать мне! Желает стать делом, чтобы можно было сказать: сказано — сделано. Я была бы довольна, если бы моя речь отреклась от меня, на словах отреклась, а на деле осталась моей. Как же добиться, чтобы она хоть чуточку была ко мне привязана? От других отвязалась, так пусть хоть ко мне привяжется. Вернись, речь! Пожалуйста, вернись! Какое там… На дороге ей, моей речи, открываются тайны, которые запретны для меня, и моя речь выдает их другим, людям, которых не интересуют никакие тайны. Я-то хотела бы их узнать, такие вещи мне к лицу, да, мне бы это подошло, но речь, в свою очередь, не останавливается — идет и идет, и со мной вести разговоры не желает. Моя речь идет в пустоте, которая отличается от всего и в том числе от меня, тем, что слишком много в этой пустоте людей. Пустота — это путь. Выходит, я в стороне даже от пустоты. Я сошла с пути. Я всегда только подхватывала чьи-то слова, судачила. И обо мне много судачили, но все это неправда. Я сама только судачила, но утверждаю: сегодня настоящие слова — это только сплетни. Одним словом, здорово, просто слов нет! Давно уж не было такого многословия. Просто слушать не успеваешь, хотя слушать надо, чтобы чему-то научиться. При таком взгляде — в действительности это не взгляд, — взгляд как раз отводишь, от себя самого тоже, — сплетни на мой счет невозможны, потому что ничего нет, а из

ничего ничего и не получается. Я только смотрю вслед жизни, моя речь отвернулась от меня, показывает мне спину; чужие люди ласкают ее спереди, и бесстыдница-речь повернулась ко мне спиной. Если вообще как-то повернулась. Слишком уж часто она попросту игнорирует меня, ни словом, ни знаком не удостаивает. Иногда я перестаю различать ее вдалеке и тогда не могу сказать даже "как говорится", потому что я часто именно так говорила, но теперь уже не могу, не нахожу слов. Иногда я вижу спину моей речи или подошвы ног, которые ее не держат, то есть слова; и все-таки она всегда опережает меня, она быстрее и резвее. Что же я делаю? Она, милая родная речь, поэтому улеглась на некотором расстоянии от меня? Конечно, она живо вскочит и убежит, если я подойду к ней со стороны, с моей позиции в стороне, и попытаюсь ее захватить. Не знаю, зачем мне это. Чтобы она не захватила меня? Может быть, ответ на этот вопрос знает она, моя убежавшая речь? Моя непослушная речь? Послушная взглядам и словам других людей, которые решительно на меня не похожи. Они другие, потому что они другие. Только по той причине, что они другие. Моей речи этого достаточно. Главное же — то, что я ничего не говорю. Другие нужны моей речи, но не я, мне и только мне моя дорогая речь не хочет принадлежать. А я ведь тоже погладила бы ее и приласкала, как те, другие, если бы только могла ее настичь. Но она далеко, она убежала, не желая, чтобы я ее настигла.

Когда же она затихнет? Когда затихнет нечто нарушающее тишину? Чем больше речь там, вдалеке, затихает, тем лучше ее слышно. Она у всех на устах, но не у меня. В моем сознании мрак. Оно не омрачилось, но в нем мрак. Я мрачна, оттого что приходится смотреть вслед моей речи, я словно маяк в море, который должен светить кому-то и поэтому светится, который поворачивается во все стороны и поэтому все время что-нибудь освещает, выхватывая из тьмы, но ведь освещенное им и так существует, во тьме или на свету, маяк никому не оказывает помощи, даже если кто-то очень в ней нуждается, если без нее он утонет. Чем настойчивее я стараюсь осветить мою речь, тем она упрямей. А теперь я механически уменьшу ее огонь, переведу выключатель в режим экономии, но чем больше я стараюсь накинуть на пламя колпачок — душилку на длинном шесте, такими душилками, когда я была маленькой, гасили свечи в церкви, чем больше я стараюсь задушить пламя моей речи, тем больше она получает воздуха. Тем громче она кричит, барахтаясь под тысячей рук, ласкающих ее, чего мои руки, увы, никогда не делали; я же не знаю, что могло бы доставить мне удовольствие; да, так вот, она кричит, потому что это позволяет ей оставаться

вдали от меня. Она кричит на других, чтобы те тоже вопили и плясали под ее дудку, чтобы стоял шум. Кричит, чтобы я не смела приближаться. Никто вообще не должен слишком приближаться к другому. И слово не должно слишком приближаться к тому, что ты хочешь сказать. Нельзя подходить слишком близко к своему языку, это дерзость, язык запросто может и сам что-то о себе сообщить, проорать во весь голос, чтобы никто не расслышал: он лишь повторяет заранее подсказанное. Моя речь дает мне обещания, лишь бы я не подходила близко. Миллионам других позволяет, а мне нет! А ведь она — моя! Как вам это нравится? Я даже сказать не могу, что об этом думаю. Видно, язык мой начисто забыл, откуда он взялся, другого объяснения просто не нахожу. А ведь когда-то был таким маленьким. Подумать только, как вырос, просто слов нет! Вот я и не узнаю крошку. Я ведь знала ее во-от такой маленькой. В те времена было тихо, а речь еще была моим ребенком. Теперь она вдруг стала гигантом. И это уже не мой ребенок. Ребенок не вырос, но стал огромным, он не понимает, что еще не ушел резвыми ножками от меня, но резвым стал, уж это точно. Таким резвым, что заглушает самого себя своими воплями, и не только себя, но и всех остальных, которые вопят еще громче. И еще язык поднимается на невероятную высоту. Поверьте, невероятную. Вы не пожелаете действительно услышать такое! Я не ощущаю гордости за этого ребенка, поверьте! В самом начале мне хотелось, чтобы он остался тихим, каким был, пока не научился говорить. Я и сегодня не хочу, чтобы он обрушивался точно буря, чтобы заставлял других вопить и размахивать руками и швыряться твердыми, жесткими предметами, которые моя речь не умеет ни ловить, ни хватать, она ведь совсем не приучена к спорту, тут я виновата. Ничего не ловит. Бросает, но поймать не может. А я вот поймана ею, хотя она далеко. Я в плену у моей речи, моей тюремщицы. Странно — она совсем не следит за мной! Так уверена во мне? Так уверена, что я не сбегу, и поэтому считает, что ей самой можно сбежать? Вот идет человек, который уже умер, он заговаривает со мной, хотя ничего подобного не предусмотрено. Но ему можно, многие умершие разговаривают теперь заглохшими голосами, сейчас они отваживаются на это, потому что мой собственный язык за мной не следит. Мой язык знает, что этого не требуется. И хотя он от меня сбежал, я от него никуда не денусь. Я всегда в его распоряжении, а вот он от меня ушел. А я осталась. То, что осталось, не создали поэты.[1] Что остается, ныне ушло. Горний полет отменен. Никто этим рейсом не прибыл, ничто не прибыло. А если, вопреки здравому смыслу, что-то, не прибыв, все же захочет остаться, исчезает то, чему бы следовало пребыть, —

самое неуловимое, язык. Он исчез, откликнувшись на свежее объявление о найме. То, что должно оставаться, всегда уходит. Во всяком случае, его нет. Так что же нам-то остается…

notes

Примечания

1

Перефразированная строка из стихотворения Фридриха Гельдерлина "Напоминание" ("Andenken") "То, что пребудет, создали поэты".